

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

# Пьер Абеляр

---

История моих бедствий



ImWerdenVerlag  
München 2006



## Часть первая

Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому после утешения в личной беседе, я решил написать тебе, отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их.

Я происхожу из местечка, расположенного в преддверии Бретани, как я думаю, милях в восьми к востоку от Нанта, и носящего название Пале. Одаренный от природы моей родины или по свойствам нашего рода восприимчивостью, я отличался способностями к научным занятиям. Отец мой до того, как я препоясался воинским поясом, получил некоторое образование. Поэтому и впоследствии он был преисполнен такой любовью к науке, что, прежде чем готовить каждого из своих сыновей к воинскому делу, позаботился дать им образование. Решение отца было, конечно, исполнено, а так как я в качестве первенца был его любимцем, то он тем сильнее старался тщательнее обучить меня.

Я же чем больше оказывал успехов в науке и чем легче они мне давались, тем более страстно привязывался к ним и был одержим такой любовью к знанию, что, предоставив своим братьям наследство, преимущества моего первородства и блеск военной славы, совсем отрекся от участия в совете Марса ради того, чтобы быть воспитанным в лоне Минервы. Избрав оружие диалектических доводов среди остальных положений философии, я променял все прочие доспехи на эти и предпочел военным трофеям — победы, приобретаемые в диспутах. Поэтому, едва только я узнавал о процветании где-либо искусства диалектики и о людях, усердствующих в нем, как я переезжал, для участия в диспутах, из одной провинции в другую, уподобляясь, таким образом, перипатетикам.

Наконец я прибыл в Париж, где эта отрасль познания уже давно и всемерно процветала, и пришел к Гильому из Шампо, действительно выдающемуся в то время магистру в этой области, который пользовался соответствующей славой. Он-то и стал моим наставником. Сначала я был принят им благосклонно, но затем стал ему в высшей степени неприятен, так как пытался опровергнуть некоторые из его положений, часто отваживался возражать ему и иногда побеждал его в спорах. Наиболее же выдающиеся из моих сотоварищей по школе весьма сильно вознегодовали на меня за это и тем сильнее, чем я был моложе их по возрасту и по курсу обучения. Здесь-то и начались мои бедствия, продолжающиеся поныне; чем шире распространялась обо мне слава, тем более воспалялась ко мне зависть.

Возымев о самом себе высокое мнение, не соответствовавшее моему возрасту, я, будучи юношей, уже стремился стать во главе школы и даже наметил себе место, где я мог бы начать такую деятельность, а именно — в Мелене, бывшем в то время значительным укрепленным пунктом и королевской резиденцией. Упомянутый мой учитель догадался об этом и постарался, насколько это было для него возможно, отдалить мою школу от своей. Он изобретал всевозможные тайные махинации, чтобы

помешать открытию моей школы и, прежде чем я покину его, лишит меня избранного для нее места. Но так как некоторые из сильных мира сего относились к нему недружелюбно, то при их поддержке и содействии мне удалось добиться исполнения моего желания, а его явная зависть возбудила у многих сочувствие ко мне.

С самого же начала моей преподавательской деятельности в школе молва о моем искусстве в области диалектики стала распространяться так широко, что начала понемногу меркнуть слава не только моих школьных сотоварищей, но и самого учителя. Вот почему, возымев еще более лестное мнение о своих способностях, я перенес свою школу в укрепленное местечко Корбейль по соседству с Парижем, чтобы получить возможность именно отсюда чаще нападать на своих противников в диспутах. Однако немного времени спустя, вследствие неумеренной страсти к научным занятиям, я подорвал свое здоровье и вынужден был возвратиться на родину. В течение нескольких лет я был как бы удален из Франции, зато меня еще ревностней ожидали все увлекавшиеся изучением диалектики.

Когда по прошествии нескольких лет я совсем оправился от болезни, мой бывший наставник Гильом, архидиакон Парижский, сменив свое прежнее одеяние, вступил в ряды уставных каноников, как передавали, с целью казаться благочестивее и тем скорее подняться на более высокую ступень духовного сана. Этому он в самом скором времени и достиг, так как его сделали епископом Шалонским. Однако новое одеяние, [соответствующее его сану], не удалило его из Парижа и не отвлекло от привычных занятий философией: в том же самом монастыре, в который он удалился, дабы посвятить себя делу веры, он тотчас же, по своему обычаю, стал заниматься публичным преподаванием. Тогда я возвратился к нему, чтобы прослушать у него курс риторики, причем в ходе наших, неоднократно возникавших споров я, весьма убедительно опровергнув его доводы, вынудил его самого изменить и даже отвергнуть его прежнее учение об универсалиях. Было же его учение об общих понятиях таково: он утверждал, что вещь, одна и та же по сущности, находится в своих отдельных индивидуумах вся целиком и одновременно; последние же различаются [между собой] не по [своей] сущности, но только в силу многообразия акциденций. И это свое учение он исправил таким образом, что, наконец, сказал: одна вещь является тождественной [с другой] не по сущности, а в силу безразличия.

А ведь этот вопрос об универсалиях был у диалектиков всегда одним из важнейших, и он настолько труден, что даже Порфирий в своем «Введении», говоря об универсалиях, не решился определить их, заявив: «Это — дело чрезвычайной глубины». После того как Гильом изменил и даже был вынужден отвергнуть свое прежнее учение, к его лекциям начали относиться так пренебрежительно, что едва даже стали допускать его к преподаванию других разделов диалектики: как будто бы только в учении об универсалиях заключается, так сказать, вся суть этой науки. Поэтому мое учение приобрело такую силу и авторитет, что лица, наиболее усердно поддерживавшие раньше моего вышеназванного учителя и особенно сильно нападавшие на мое учение, теперь перешли в мою школу. Даже преемник моего учителя в парижской школе сам предложил мне свое место, чтобы вместе с остальными поучиться у меня там, где раньше процветал его и мой учитель.

Вскоре после того как обучение диалектике оказалось под моим руководством, наш бывший учитель начал столь сильно мучиться от зависти и огорчения, что это даже трудно выразить. Не имея сил долгие терпеть постигший его удар, он коварно стал искать возможность удалить меня из школы. Но так как у него не было предложения действовать против меня открыто, то Гильом решил предъявить позорнейшие обвинения человеку, передавшему мне руководство в школе и отнять ее у него, а на это место назначить моего противника. Тогда я возвратился в Мелен и снова, как прежде,

открыл там свою школу, и чем более явно он преследовал меня своей завистью, тем больше возрастал мой авторитет, согласно словам поэта:

Высшее — зависти цель.  
Бурям открыты вершины.

Однако немного позже, поняв, что почти все его ученики весьма сомневаются в его благочестивости и без конца перешептываются по поводу его вступления в клир, потому что он ни в какой степени не отказался от городской жизни, Гильом переехал сам и перевез немногочисленную братию и свою школу в некий уединенный от Парижа поселок. А я тотчас же возвратился из Мелена в Париж, надеясь в конце концов обрести покой от его преследований. Но поскольку, как я уже заметил ранее, он сделал моим преемником моего противника, я раскинул свой школьный стан вне пределов Парижа — на горе св. Женевьевы, как бы намереваясь держать моего преемника в осаде. Услышав об этом, наш учитель без всякого зазрения совести немедленно возвратился в Париж и перевел остававшихся еще при нем учеников и братию в прежний монастырь, дабы освободить от моей осады того воина, которого он раньше покинул. В действительности же Гильом сильно повредил ему, хотя намеревался оказать ему помощь. В самом деле, раньше у моего преемника было хоть несколько учеников, интересовавшихся преимущественно его лекциями о Присциане, в изучении которого он считался особенно сильным. А после прибытия учителя мой преемник совершенно лишился всех своих учеников и был, таким образом, вынужден отказаться от руководства школой. Вскоре после того, вконец отчаявшись приобрести мирскую славу, он и сам постригся в монахи.

Ты, наверное, хорошо осведомлен о том, как часто спорили я и мои ученики с нашим бывшим учителем и его учениками после их возвращения в Париж и насколько был удачен для нас, а также и для меня самого исход этих битв. Скажу об этом смело словами Аякса, чтобы выразиться поскромнее:

...Спросите ль вы об исходе  
Битвы меня, то отвечу я вам: побежденным я не был.

И даже если бы я умолчал об этом, то само дело гласит за себя, равно как и исход его.

Пока происходили все эти события, моя возлюбленная мать Люция вызвала меня к себе на родину. После пострижения моего отца Беренгария в монахи она намеревалась поступить так же. По исполнении этого обряда я возвратился во Францию, чтобы основательнее изучить богословие, в то время как часто упоминаемый наш учитель Гильом уже утвердился на престоле епископа Шалонского. Высшим же авторитетом в области богословия считался тогда его собственный учитель — Ансельм Ланский.

Итак, я пришел к этому старцу, который был обязан славой больше своей долголетней преподавательской деятельности, нежели своему уму или памяти. Если кто-нибудь приходил к нему с целью разрешить какое-нибудь свое недоумение, то уходил от него с еще большим недоумением. Правда, его слушатели им восхищались, но он казался ничтожным вопрошавшим его о чем-либо. Он изумительно владел речью, но она была крайне бедна содержанием и лишена мысли. Зажигая огонь, он наполнял свой дом дымом, а не озарял его светом. Он был похож на дерево с листвой, которое издали представлялось величественным, но вблизи и при внимательном рассмотрении оказывалось бесплодным. И вот, когда я подошел к этому дереву с целью собрать с него плоды, оказалось, что это проклятая господом смоковница или тот старый дуб, с которым сравнивает Помпей Лукан, говоря:

...Встала великого имени тень —  
Словно дуб высокий среди плодородного поля.

Убедившись в этом на опыте, я недолго оставался в праздности под его сенью. Постепенно я стал приходить на его лекции все реже и реже, чем тяжело обидел некоторых выдающихся его учеников, так как им казалось, что я с презрением отношусь к столь великому учителю. Поэтому, тайно восстанавливая его против меня, они своими коварными наговорами внушили ему ненависть ко мне. Однажды после лекции мы, ученики, завели между собой шуточный разговор. И вот тогда кто-то, с намерением испытать, спросил меня, каково мое мнение о чтении священного писания, поскольку я изучал до того времени лишь светские предметы. Я ответил: изучение священного писания является крайне важным, ибо оно учит нас спасению души, но меня сильно удивляет, почему образованные люди считают недостаточным для понимания учения святых знание их подлинных сочинений или толкований и нуждаются при этом еще в чьем-либо руководстве.

Многие из присутствующих, смеясь, спросили меня, — смог ли бы я это выполнить и взялся ли бы я сам за такое дело? Я ответил, что, если они желают этого, я готов попытаться. Тогда с громкими восклицаниями и с еще более громким смехом они сказали: «Разумеется, мы этого желаем. Возьмите текст, который обычно не проходится в школах, и тогда мы посмотрим, как-то вы исполните ваше обещание». По общему согласию были избраны темнейшие пророчества Иезекииля. Итак, взяв текст, я тотчас пригласил их на завтра же на лекцию. Они же, давая непрошенные советы, предлагали мне не спешить с такими важными вещами и говорили, что мне как человеку неопытному необходимо поработать подольше и основательно обдумать содержание лекции. Я с негодованием ответил, что в моем обычае разрешать вопросы, опираясь не на кропотливый труд, но на разум, и добавил, что я или совсем откажусь от своего намерения, или же они должны прийти на лекцию согласно моему желанию.

Разумеется, на эту первую мою лекцию собралось мало слушателей, так как всем казалась смешною мысль, что я, будучи совершенно неопытен в области богословия, так поспешно к нему приступаю. Однако эта лекция так понравилась всем присутствовавшим, что они стали отзываться о ней с исключительным одобрением и побуждали меня продолжать толкования в том же духе. Услышав об этом, отсутствовавшие на первой лекции чрезвычайно охотно явились на вторую и третью и стали усердно переписывать толкования, которые я давал с самого первого дня моих лекций. Вследствие этого названный выше старец стал терзаться жестокой завистью ко мне и, уже ранее (как упомянуто выше) восстановленный против меня некими наговорами, начал столь же сильно преследовать меня в области богословских вопросов, сколь раньше Гильом — в области философских.

В то время в школе этого старца были два ученика, считавшиеся лучшими среди прочих, а именно — Альберик из Реймса и Лотульф из Ломбардии. Оба они были высокого мнения о самих себе и тем более враждебно настроены по отношению ко мне. Главным образом под влиянием их наговоров (как это обнаружилось впоследствии) разгневанный старец весьма грубо запретил мне продолжать мои толкования пророчеств Иезекииля в пределах своей школы под тем предлогом, что, если я в своих лекциях выскажу что-нибудь ошибочное, как неопытный в богословии, ответственность за ошибку падет на него. Когда ученики это услышали, они пришли в сильное негодование против столь очевидной злостной клеветы, какой никогда еще ни на кого не возводили. Но чем яснее обнаруживалась эта клевета, тем больше приобретал я почта, и преследования со стороны Ансельма только увеличили мою славу.

Немного времени спустя я вернулся в Париж и в течение нескольких лет спокойно руководил той школой, которая первоначально была для меня предназначена и мне предоставлена и из которой я был прежде изгнан. Там, с самого начала моих лекций, я постарался закончить толкования Иезекииля, начатые мной в Лане. Они были приняты читателями так благосклонно, что меня стали считать не меньшим авторитетом в области богословия, чем в области философии. Какие же крупные денежные выгоды и какую славу доставила мне моя школа, крайне разросшаяся вследствие преподавания в ней и философии, и богословия, это, конечно, не могло остаться тебе неизвестным из-за широкой молвы. Но благополучие всегда делает глупцов надменными, а беззаботное мирное житие ослабляет силу духа и легко направляет его к плотским соблазнам.

Считая уже себя единственным сохранившимся в мире философом и не опасаясь больше никаких неприятностей, я стал ослаблять бразды, сдерживающие мои страсти, тогда как прежде я вел самый воздержанный образ жизни. И достигая все больших успехов в изучении философии или богословия, я все более отдалялся от философов и богословов нечистотой моей жизни. Известно, что философы, не говоря уже о богословах (то есть о людях, соблюдавших наставления священного писания), славилась больше всего красотой своей воздержанности. Я же трудился, всецело охваченный гордостью и сластолюбием, и только божественное милосердие, помимо моей воли, исцелило меня от обеих этих болезней — сначала от сластолюбия, а затем и от гордости; от первого оно избавило меня лишением средств его удовлетворения, а от сильной гордости, порожденной во мне прежде всего моими учеными занятиями (по слову апостола: «Знание преисполняет надменностью»), оно спасло меня, унизив сожжением той самой книги, которой я больше всего гордился.

Я хочу сообщить тебе об этих историях то, что было в действительности, чтобы ты знал о них не по слухам и в том порядке, в каком эти истории происходили. Я гнушался всегда нечистотой блудниц, а от сближения и от короткого знакомства с благородными дамами меня удерживали усердные ученые занятия, и я имел мало знакомых среди мирянок. Моя, так сказать, коварная и изменчивая судьба создала удобнейший случай, чтобы было легче сбросить меня с высоты моего величия в бездну. И вот божественное милосердие унизило меня, косневшего в величайшей гордыне и забывшего о воспринятой благодати.

А именно, жила в самом городе Париже некая девица по имени Элоиза, племянница одного каноника, по имени Фульбер. Чем больше он ее любил, тем усерднее заботился об ее успехах в усвоении всяких каких только было возможно наук. Она была не хуже других и лицом, но обширностью своих научных познаний превосходила всех. Так как у женщин очень редко встречается такой дар, то есть ученые познания, то это еще более возвышало девушку и делало ее известной во всем королевстве. И рассмотрев все, привлекающее обычно к себе влюбленных, я почел за наилучшее вступить в любовную связь именно с ней. Я полагал легко достигнуть этого. В самом деле, я пользовался тогда такой известностью и так выгодно отличался от прочих молодостью и красотой, что мог не опасаться отказа ни от какой женщины, которую я удостоил бы своей любовью. Я был осведомлен о познаниях этой девушки в науках и о ее любви к ним и потому был уверен, что она легко даст мне свое согласие. Я думал, что мы, даже находясь в разлуке, могли бы переписываться между собой (а ведь писать можно гораздо смелее, чем говорить) и таким образом находиться всегда в приятном общении.

Итак, воспламененный любовью к этой девушке, я стал искать случая сблизиться с ней путем ежедневных разговоров дома, чтобы тем легче склонить ее к согласию. С этой целью я начал переговоры с дядей девушки (при содействии некоторых его друзей), — не согласится ли он принять меня за какую угодно плату нахлебником в свой

дом, находившийся очень близко от моей школы. При этом я, конечно, утверждал, будто заботы о домашнем хозяйстве в сильной степени мешают моим научным занятиям и особенно тяжело для меня бремя хозяйственных расходов. А Фульбер был очень скуп и сильно стремился доставить своей племяннице возможность дальнейшего усовершенствования в науках. При наличии этих двух обстоятельств я легко получил его согласие и достиг желаемого; весьма заинтересованный, разумеется, в получении денег, он был убежден и в том, что его племянница чему-нибудь от меня научится.

Сверх моих ожиданий он стал настойчиво меня уговаривать, согласился на мои предложения и сам помог моей любви: а именно, он поручил племянницу всецело моему руководству, дабы я всякий раз, когда у меня после возвращения из школы будет время, — безразлично днем или ночью — занимался ее обучением и, если бы я нашел, что она пренебрегает уроками, строго ее наказывал. Я сильно удивлялся его наивности в этом деле и не менее про себя поражаюсь тому, что он как бы отдал нежную овечку голодному волку. Ведь поручив мне девушку с просьбой не только учить, но даже строго наказывать ее, он предоставлял мне удобный случай для исполнения моих желаний и давал (даже если бы мы оба этого и не хотели) возможность склонить к любви Элоизу ласками или же принудить ее [к любви] угрозами и побоями. Однако были два обстоятельства, которые в глазах Фульбера устраняли всякое постыдное подозрение: это его любовь к племяннице и молва о моей прежней воздержанности. Что же еще? Сначала нас соединила совместная жизнь в одном доме, а затем и общее чувство.

Итак, под предлогом учения мы всецело предавались любви, и усердие в занятиях доставляло нам тайное уединение. И над раскрытыми книгами больше звучали слова о любви, чем об учении; больше было поцелуев, чем мудрых изречений; руки чаще тянулись к груди, чем к книгам, а глаза чаще отражали любовь, чем следили за написанным. Чтобы возбуждать меньше подозрений, я наносил Элоизе удары, но не в гневе, а с любовью, не в раздражении, а с нежностью, и эти удары были приятней любого бальзама. Что дальше? Охваченные страстью, мы не упустили ни одной из любовных ласк с добавлением и всего того необычного, что могла придумать любовь. И чем меньше этих наслаждений мы испытали в прошлом, тем пламенней предавались им и тем менее пресыщения они у нас не вызывали. Но чем больше овладевало мною это сладострастие, тем меньше я был в состоянии заниматься философией и уделять внимание школе. Ходить в нее и оставаться там мне было в высшей степени скучно и даже утомительно, так как ночью я бодрствовал из-за любви, а дни посвящал научным занятиям.

Поскольку я начал тогда небрежно и равнодушно относиться к чтению лекций, то я стал излагать все уже не по вдохновению, а по привычке и превратился в простого пересказчика мыслей, высказанных прежде. И если мне случалось еще придумывать новое, то это были любовные стихи, а не тайны философии. Многие из этих стихов, как ты и сам знаешь, нередко разучивались и распевались во многих областях, главным образом теми, которых жизнь обольщала подобно мне. Но трудно и представить себе, как опечалились по этому поводу мои ученики, как они вздыхали и жаловались, догадавшись о моем состоянии или, вернее сказать, о помрачении моей души.

Столь явные признаки происходящего уже мало кого могли оставить в неведении, и я полагаю, что на этот счет не обманывался никто, кроме только того человека, которому это приносило величайший позор, то есть кроме дяди моей возлюбленной. Правда, некоторые иногда намекали ему об этом, но он не мог им поверить, то ли по причине своей чрезмерной любви к племяннице (о чем я упомянул выше), то ли из-за того, что была известна моя воздержанность в прошлом. Ведь нам очень трудно заподозрить в постыдных поступках тех людей, которых мы более всего любим. С сильной любовью не могут ужиться черные подозрения.



Вот почему в письме блаженного Иеронима к Сабиниану говорится: «Обычно о зле в своем доме мы узнаем последними и не ведаем о пороках наших жен и детей, хотя об этом болтают соседи. Но трудно скрыть от человека то, что известно всем, и хотя бы в последнюю очередь, но нам все же приходится когда-либо узнать про это». Именно так по истечении нескольких месяцев случилось и с нами. О, как прискорбно было дяде в конце концов узнать об этом! Сколь велико было горе влюбленных при расставанье! Как сторал я от стыда! Какой скорбью я был подавлен при виде горести моей возлюбленной! Какую печаль претерпела она из-за моего позора! Ни один из нас не заботился о себе, а сокрушался о том, что постигло другого. Каждый оплакивал не собственное несчастье, а несчастье другого. Таким образом телесная разлука сделала еще более тесным духовный союз, а наша любовь от невозможности ее удовлетворения разгоралась еще сильнее. Уже переживши свой позор, мы стали нечувствительны к нему; притом чем более естественным представлялся нам наш поступок, тем слабее становилось в нас чувство стыда. Итак, с нами случилось то же самое, что с застигнутыми врасплох Марсом и Венерой, о чем рассказывает поэтическая басня.

Немного позже девушка почувствовала, что она ожидает ребенка, и с великой радостью написала мне об этом, прося меня подать совет, как ей в этом случае поступить. И вот однажды ночью в отсутствие дяди, как между нами было условлено, я тайно увез ее из его дома и немедленно перевез к себе на родину, где она и проживала у моей сестры до тех пор, пока не родила сына, которого она назвала Астролябием. Ее дядя после ее бегства чуть не сошел с ума; никто, кроме испытавших то же горе, не мог бы понять силу его отчаяния и стыда. Но что ему сделать со мной и какие козни против меня устроить, этого он не знал. Он больше всего опасался, что если бы он убил или как-нибудь изувечил меня, то возлюбленной его племянница поплатилась бы за это у меня на родине. Он не мог ни захватить, ни куда-нибудь силою заточить меня, так как я принял против этого все меры предосторожности, не сомневаясь, что он нападет на меня, как только сможет или посмеет это сделать.

Наконец, почувствовав сострадание к его безмерному горю и обвиняя себя самого в коварстве (и как бы в величайшем предательстве), вызванном моей любовью, я сам пришел к этому человеку, прося у него прощения и обещая дать какое ему угодно удовлетворение. Я убеждал его, что мое поведение не покажется удивительным никому, кто хоть когда-нибудь испытал власть любви и помнит, какие глубокие падения претерпевали из-за женщин даже величайшие люди с самого начала существования человеческого рода. А чтобы еще больше его успокоить, я сам предложил ему удовлетворение сверх всяких его ожиданий: а именно сказал, что я готов жениться на соблазненной, лишь бы это совершилось втайне и я не потерпел бы ущерба от молвы. Он на это согласился, скрепив соглашение поцелуем и честным словом, данным как им самим, так и его близкими, однако лишь для того, чтобы тем легче предать меня.

Отправившись вновь на родину, я привез оттуда свою подругу, собираясь вступить с ней в брак, но она не только не одобрила этого намерения, но даже старалась отговорить меня, обращая внимание на два обстоятельства: угрожающую мне опасность и мое бесчестие. Она клялась в том, что дядю ее нельзя умиловить никаким способом, и впоследствии это оправдалось. Она спрашивала: как сможет она гордиться этим браком, который обесславит меня и равно унижит меня и ее; сколь большого наказания потребует для нее весь мир, если она отнимет у него такое великое светило; сколь много вызовет этот брак проклятий со стороны церкви, какой принесет ей ущерб и сколь много слез исторгнет он у философов; как непристойно и прискорбно было бы, если бы я — человек, созданный природой для блага всех людей, — посвятил себя только одной женщине и подвергся такому позору!

Она решительно отказывалась от этого брака, заявляя, что он явится для меня во всех отношениях постыдным и тягостным. Она подчеркивала и мое бесславление после

этого брака, и те трудности брачной жизни, которых апостол убеждает нас избегать, говоря: «Свободен ли ты от жены? Не ищи жены. Но если ты и женился, то не согрешил. И если дева выйдет замуж, то она не согрешит. Таковые будут иметь скорбь плоти. Я же щажу вас». И далее: «Хочу, чтобы вы не имели забот». Если же, — говорила она мне, — я не послушаюсь ни совета апостола, ни указаний святых относительно тяжести брачного ига, то я должен по крайней мере обратиться за советом к философам и внимательно изучить то, что написано о браке ими самими, или же то, что написано о них. Нередко даже святые отцы старательно делают это ради нашего наставления. Таково, например, утверждение в первой книге труда блаженного Иеронима «Против Иовиниана», где Иероним напоминает, что Теофраст, пространно и подробно охарактеризовавший невыносимые тягости и постоянные беспокойства брачной жизни, убедительнейшими доводами доказал, что мудрому человеку жениться не следует. К философским доводам этого увещания сам блаженный Иероним прибавляет следующее заключение: «Если по этому поводу так рассуждает Теофраст, то кого же из христиан он не смутит?» В другом месте того же труда Иероним говорит: «Цицерон после развода с Теренцией ответил решительным отказом на уговоры Гирция жениться на его сестре, заявив, что он не в состоянии равно заботиться и о жене и о философии. Он ведь не сказал просто «заботиться», но прибавил еще и «равно», не желая уделять чему-либо иному такие же заботы, какие он уделял философии».

## Часть вторая

И если даже отвлечься теперь от этого препятствия к философским занятиям, то представь себе условия совместной жизни в законном браке. Что может быть общего между учениками и домашней прислугой, между налоем для письма и детской люлькой, между книгами или таблицами и прялкой, между стилем, или каламом, и веретенком? Далее, кто же, намереваясь посвятить себя богословским или философским размышлениям, может выносить плач детей, заунывные песни успокаивающих их кормилиц и гомон толпы домашних слуг и служанок? Кто в состоянии терпеливо смотреть на постоянную нечистоплотность маленьких детей? Это, скажешь ты, возможно для богачей, во дворцах или просторных домах которых есть много различных комнат, для богачей, благосостояние которых не чувствительно к расходам и которые не знают тревожений ежедневных забот. Но я возражу, что философы находятся совсем не в таком положении, как богачи; тот, кто печется о приобретении богатства и занят мирскими заботами, не будет заниматься богословскими или философскими вопросами.

Поэтому-то знаменитые философы древности, в высшей степени презиравшие мир и не только покидавшие мирскую жизнь, но и прямо бежавшие от нее, отказывали себе во всех наслаждениях и искали успокоения только в объятиях философии. Один из них, и самый великий, — Сенека — в поучении Люцилию говорит так: «Нельзя заниматься философией только на досуге; следует пренебречь всем, чтобы посвятить себя той, для которой мало и всей нашей жизни. Нет большой разницы, навсегда ты оставил философию или же только прервал занятия ею; ведь если ты перестал заниматься философией, она покинет тебя». С житейскими заботами следует бороться, не распутывая эти заботы, а удалясь от них. Итак, образ жизни, принятый у нас из любви к Богу теми людьми, которые справедливо называются монахами, в языческом мире был усвоен ради любви к философии знаменитыми у всех народов философами.

Ведь у любого народа — безразлично языческого, иудейского или христианского — всегда имелись выдающиеся люди, превосходящие остальных по своей вере или

высокой нравственности и отличавшиеся от других людей строгостью жизни или воздержанностью. Таковы были среди древних иудеев назареи, посвящавшие себя Богу согласно закону, или сыны пророческие, ученики пророков Илии или Елисея, являвшиеся, по свидетельству блаженного Иеронима, ветхозаветными монахами. Таковы же были в более позднее время участники тех трех философских сект, которых Иосиф Флавий в XVIII книге «Древностей» называет фарисеями, саддукеями и ессеями. Таковы у нас монахи, подражающие по образу жизни житию апостолов или же еще более ранней отшельнической жизни Иоанна Крестителя. А у язычников, как уже сказано, таковыми были философы. Ведь наименование «мудрость» или «философия» использовалось ими не столько для [обозначения] усвоенных познаний, сколько для [обозначения] святости жизни, как мы знаем и по самому происхождению слова «философия», и по свидетельству святых отцов.

Вот почему у блаженного Августина в книге VIII его труда «О граде божьем» там, где он характеризует философские школы, есть такое место: «Италийская школа была основана Пифагором Самосским, от которого, говорят, дошло до нас изобретенное им самим название философии. До Пифагора мудрецами назывались люди, отличавшиеся, по-видимому, от остальных своей похвальной жизнью; Пифагор же в ответ на вопрос, кем он себя считает, сказал: «философом», то есть стремящимся к мудрости или другом ее, так как назвать себя мудрецом казалось слишком самонадеянным». И эти самые слова: «отличавшиеся, по-видимому, от остальных своей похвальной жизнью» ясно указывают на то, что языческие мудрецы, то есть философы, назывались этим именем более за свою похвальную жизнь, чем за свои выдающиеся познания. А доказывать при помощи примеров, сколь трезво и воздержанно они жили, мне не полагается, чтобы не показалось, будто я поучаю саму Минерву. И если такую жизнь вели миряне и язычники, не побуждаемые предписаниями религии, то разве ты, духовное лицо и каноник, не должен тем более предпочитать духовные обязанности презренным наслаждениям, дабы тебя не поглотила эта Харибда и дабы безвозвратно, презрев всякий стыд, ты не погрузился в эту грязь? Если же ты не заботишься о своем духовном звании, то сохрани по крайней мере достоинство философа. Если тобою забыт страх божий, то пусть уважение к приличию послужит уздой для твоего бесстыдства. Вспомни, что Сократ, женившись, прежде всего сам поплатился ужасными неприятностями за это унижение философии, — его пример должен сделать других осторожнее. Этого не упустил из виду и сам Иероним, написавший в первой книге «Против Иовиниана» о Сократе следующее: «Однажды, когда он стойко переносил бесконечные ругательства нападавшей на него Ксантиппы, стоявшей наверху, она облила его грязной водой, а он ответил ей только тем, что обтер голову и сказал: «Так я и знал, что за этим громом последует дождь».

Кроме того, Элоиза добавила несколько слов и от себя: о том, сколь опасно оказалось бы для меня ее возвращение в Париж и что для нее было бы гораздо приятнее, а для меня почетнее, если бы она осталась моей подругой, а не женой; ведь тогда я принадлежал бы ей не в силу брачных уз, а исключительно из любви к ней; и мы, время от времени разлучаясь, тем сильнее чувствовали бы радость от наших свиданий, чем реже бы виделись. Убеждая или отговаривая меня при помощи этих или подобных доводов и будучи не в состоянии победить мое недомыслие, но не желая в то же время и оскорбить меня, она вздохнула, заплакала и закончила свои мольбы так: «В конце концов остается одно: скорбь о нашей гибели будет столь же велика, сколь велика была наша любовь». И, как было призвано всеми, в этом случае ее предсказание оказалось пророческим.

Итак, после рождения нашего младенца, порученного попечению моей сестры, мы тайно возвратились в Париж и через несколько дней, проведя ночь в молитвах в одной из церквей, мы рано поутру получили там же брачное благословение в при-

сутствии дяди Элоизы и нескольких наших и его друзей. Затем мы тотчас же и тайком отправились каждый в свой дом и после этого виделись редко и втайне, стараясь всячески скрыть наш брак. Однако же дядя Элоизы и его домашние, желая загладить свой прежний позор, начали говорить всюду о состоявшемся браке и тем нарушили данное мне обещание. Напротив, Элоиза стала клясться и божиться, что все эти слухи — ложь. Поэтому дядя, сильно раздраженный этим, часто и с бранью нападал на нее. Узнав об этом, я перевез Элоизу в женский монастырь Аржантейль, недалеко от Парижа, где она в детстве воспитывалась и обучалась. Я велел приготовить для нее подобающие монахиням монашеские одежды (кроме покрывала) и сам облек ее в них. Услышав об этом, ее дядя, родные и близкие еще более вооружились против меня, думая, что я грубо обманул их и посвятил ее в монахини, желая совершенно от нее отделаться. Придя в сильное негодование, они составили против меня заговор и однажды ночью, когда я спокойно спал в отдаленном покое моего жилища, они с помощью моего слуги, подкупленного ими, отомстили мне самым жестоким и позорным способом, вызвавшим всеобщее изумление: они изуродовали те части моего тела, которыми я свершил то, на что они жаловались. Хотя мои палачи тотчас же затем обратились в бегство, двое из них были схвачены и подвергнуты оскотлению и ослеплению. Одним из этих двух был мой упомянутый выше слуга; он, живя со мной и будучи у меня в услужении, склонился к предательству из-за жадности.

С наступлением утра ко мне сбежался весь город; трудно и даже невозможно выразить, как были все изумлены, как все меня жалели, как удручали меня своими восклицаниями и расстраивали плачем. Особенно терзали меня своими жалобами и рыданиями клирики и прежде всего мои ученики, так что я более страдал от их сострадания, чем от своей раны, сильнее чувствовал стыд, чем нанесенные удары, и мучился больше от срама, чем от физической боли. Я все думал о том, какой громкой славой я пользовался и как легко слепой случай унизил ее и даже совсем уничтожил; как справедливо покарал меня суд божий в той части моего тела, коей я согрешил; сколь справедливым предательством отплатил мне тот человек, которого раньше я сам предал; как превознесут это явно справедливое возмездие мои противники, какие волнения неутешной горести причинит эта рана моим родным и друзьям; как по всему свету распространится весть о моем величайшем позоре. Куда же мне деться? С каким лицом я покажусь публично? Ведь все будут указывать на меня пальцами и всячески злословить обо мне, для всех я буду чудовищным зрелищем. Немало меня смущало также и то, что, согласно суровой букве закона, евнухи настолько отвержены перед господом, что людям, оскотленным полностью или частично, воспрещается входить во храм, как зловонным и нечистым, и даже животные такого рода считаются непригодными для жертвоприношения. Книга Левит гласит: «Вы не должны приносить в жертву господу никакого животного с раздавленными, или отрезанными, или отсеченными, или с отнятыми тестикулами». А во Второзаконии говорится: «Да не войдет в божий храм евнух».

В столь жалком состоянии уныния я, признаюсь, решил постричься в монахи не ради благочестия, а из-за смятения и стыда. Элоиза же еще до меня по моему настоянию надела на себя покрывало монахини и вступила в монастырь. Итак, мы оба почти одновременно надели на себя монашескую одежду, я — в аббатстве Сен-Дени, а она — в упомянутом выше монастыре Аржантейль. Я помню, что многие жалели ее и пугали невыносимым для ее молодости бременем монастырских правил; но все уговоры были напрасны. Она отвечала на них сквозь слезы и рыдания, повторяя жалобу Корнелии:

О величайший супруг мой!  
Брак наш позор для тебя.

Ужели злой рок будет властен  
Даже над этой главой?  
Нечестиво вступила в союз я,  
Горе принесши тебе.  
Так приму же и я наказанье!  
Добровольно приму я его...

С этими словами она поспешила к алтарю, тотчас же приняла освященное епископом покрывало и перед лицом всех присутствующих связала себя монашескими обетами.

Едва только я оправился от раны, ко мне нахлынули клирики и стали докучать и мне и моему аббату непрерывными просьбами о том, чтобы я вновь начал преподавание — теперь уже ради любви к богу, тогда как до тех пор я делал это из желания приобрести деньги и славу. Они напоминали мне, что бог потребует от меня возвращения с лихвой врученного им мне таланта. И если до тех пор я стремился преподавать преимущественно людям богатым, то отныне я обязан просвещать бедняков. Теперь-то в постигшем меня несчастье я должен познать руку божью и тем больше заняться изучением наук — дабы стать истинным философом для бога, а не для людей, — чем свободней я стал ныне от плотских искушений и поскольку меня не рассеивает шум мирской жизни.

Между тем в аббатстве, в которое я вступил, вели совершенно мирскую жизнь и к тому же весьма предосудительную; сам аббат, стоявший выше всех прочих по своему сану, был ниже их по образу своей жизни и еще более — по своей дурной славе. Поскольку я часто и резко обличал их невыносимые гнусности как с глазу на глаз, так и всенародно, то я сделался в конце концов обузой и предметом ненависти для всех них. По этой причине они были очень рады от меня отделаться и воспользовались ежедневными и настойчивыми просьбами моих учеников. Так как последние неотступно и долго меня упрашивали, в дело вмешались аббат и братия, и я удалился в одну келью, чтобы возобновить там свои обычные учебные занятия.

Ко мне в самом деле нахлынуло такое множество школяров, что не хватало места их разместить и земля не давала достаточно продуктов для их пропитания. Здесь я намеревался посвятить себя главным образом изучению священного писания, что более соответствовало моему званию, однако не совсем отказался от преподавания и светских наук, особенно для меня привычного и преимущественно от меня требовавшегося. Я сделал из этих наук приманку, так сказать, крючок, которым я мог бы привлекать людей, получивших вкус к философским занятиям, к изучению истинной философии. Так обычно делал и величайший из христианских философов — Ориген, о чем упоминает «Церковная история».

Поскольку господу было, по-видимому, угодно даровать мне не меньше способностей для изучения священного писания, чем для светской философии, число слушателей моей школы как на тех, так и на других лекциях увеличивалось, тогда как во всех остальных школах оно так же быстро уменьшалось. Это обстоятельство возбудило ко мне сильную зависть и ненависть других магистров, которые нападали на меня при каждой малейшей возможности, как только могли. Они выдвигали против меня — главным образом в мое отсутствие — два положения: во-первых, то, что продолжение изучения светских книг противоречит данному мной монашескому обету; во-вторых, то, что я решился приступить к преподаванию богословия, не получив соответствующего разрешения. Таким образом, очевидно, мне могло быть запрещено всякое преподавание в школах, и именно к этому мои противники непрерывно побуждали епископов, архиепископов, аббатов и каких только могли других духовных лиц.

Тем временем у меня появилась мысль прежде всего приступить к обсуждению самих основ нашей веры путем применения уподоблений, доступных человеческому разуму, и я сочинил для моих учеников богословский трактат «О божественном единстве и троичности». Ученики мои требовали от меня человеческих и философских доводов и того, что может быть понято, а не только высказано. Они утверждали при этом, что излишни слова, недоступные пониманию, что нельзя уверовать в то, чего ты предварительно не понял, и что смешны проповеди о том, чего ни проповедник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом. Сам господь жаловался, что поводырями слепых были слепцы.

Когда весьма многие увидели и прочитали мой трактат, он в общем всем очень понравился, так как, по-видимому, в одинаковой мере давал удовлетворительные ответы по всем возникавшим в связи с ним вопросам. Поскольку же эти вопросы представлялись наитруднейшими, то чем больше в них было трудностей, тем более нравилась тонкость их разрешения. Поэтому мои соперники, чрезвычайно раздосадованные этим, решили созвать против меня собор. Разумеется, главное участие в этом приняли давние мои коварные неприятели: Альберик и Лотульф; после смерти своих и моих учителей — Гильома и Ансельма — они стремились владычествовать одни и сделаться как бы наследниками умерших. А так как они оба заведовали школами в Реймсе, то частыми наговорами настолько восстановили против меня своего архиепископа Рауля, что с одобрения пренестинского епископа Конана, бывшего в то время папским легатом во Франции, торжественно созвал в Суассоне собрание, назвав его собором, и пригласил меня представить собору мой известный труд о троице. Так я и сделал.

Однако еще до моего приезда в Суассон указанные выше два моих соперника так оклеветали меня перед духовенством и народом, что в первый же день моего приезда народ чуть не побил камнями меня и немногих приехавших со мной учеников, крича, — как об этом ему наговорили, — будто бы я проповедую и пишу, что у нас суть три бога. Прибыв в город, я немедленно явился к легату, передав ему свою книгу для просмотра и суждений, и выразил свою готовность подвергнуться взысканию и претерпеть любое возмездие, если написанное мной в чем-либо отклоняется от католического вероучения. Легат тотчас же приказал мне отдать мою книгу архиепископу и названным моим соперникам; таким образом моими судьями явились как раз те люди, которые были моими обвинителями, будто сбылось изречение: «и враги наши — судьи».

Но сколь внимательно ни просматривали и ни перелистывали они мою книгу, они не находили в ней ничего, что дало бы им возможность на соборе смело обвинить меня, и они оттянули осуждение книги, которого усиленно добивались, до окончания собора. Я же в течение нескольких дней до открытия собора стал перед всеми публично излагать свое учение о католической вере согласно с тем, что я написал, и все слушавшие меня с восхищением одобряли как ясность, так и смысл моих суждений. Заметив это, народ и духовенство начали так рассуждать между собой: «Вот он теперь говорит перед всеми открыто, и никто ничего ему не возражает. И собор скоро близится к окончанию, а он и созван-то был, как мы слышали, главным образом против этого человека. Неужели судьи признали, что они заблуждаются больше, чем он?» Поэтому-то мои соперники с каждым днем распались все больше и больше.

Наконец, однажды Альберик пришел ко мне с несколькими своими учениками и, намереваясь уличить меня, после нескольких льстивых слов выразил свое удивление по поводу одного места в моей книге, а именно: как я мог, признавая, что бог родил бога и что бог един, тем не менее отрицать, что бог родил самого себя? На это я немедленно ответил: «Если вы желаете, я приведу вам доказательство этого». Он заявил: «В таких вопросах мы руководствуемся не человеческим разумом и не нашими суждениями, но только словами авторитета». А я возразил ему: «Перелистайте книгу,

и вы найдете авторитет». Книга же была под рукой, потому что он сам принес ее. Я начал искать известное мне место, которое он или совсем не заметил, или не разыскал, так как, выискивал в книге только те выражения, которые могли бы мне повредить. С божьей помощью мне удалось быстро найти необходимое место. Это было изречение, озаглавленное «Августин о троице», книга I: Кто думает, будто бог обладает способностью родить себя, тот грубо заблуждается, так как не только бог не обладает такой способностью, но и никакое духовное или материальное существо. Ведь вообще нет такой вещи, которая бы сама себя порождала».

Услышав это, присутствовавшие при разговоре ученики Альберика даже покраснели от замешательства. Он же сам, желая хоть как-нибудь выпутаться из затруднительного положения, сказал: «Это следует еще правильно понять». На это я возразил, что данное суждение не ново и к настоящему вопросу оно не имеет никакого отношения, на что сам Альберик потребовал не рассуждения по существу вопроса, а лишь авторитетного свидетельства. Однако же, если бы Альберик пожелал обсудить доводы и доказательства по существу, то я готов показать ему на основании его же собственных слов, что он впал в ту ересь, согласно которой отец является своим собственным сыном. Услышав это, Альберик тут же пришел в ярость и начал мне угрожать, заявив, что в этом случае мне не помогут никакие мои доказательства и авторитеты. Высказав эту угрозу, он ушел.

Действительно, в последний день собора перед открытием заседания легат и архиепископ долго совещались с моими противниками и некоторыми другими лицами о том, что же следует постановить по поводу меня и моей книги, ради чего, главным образом, они и были созваны. И так как ни в моих словах, ни в представленной моей книге они не нашли ничего такого, что могли бы вменить мне в вину, то на некоторое время воцарилось молчание, и враги мои стали нападать на меня менее яростно.

Тогда Готфрид, епископ Шартрский, выделявшийся среди остальных епископов славой своего благочестия и значением своей кафедры, начал речь таким образом: «Все вы, присутствующие здесь владыки, знаете, что учение этого человека (каким бы он ни был) и врожденный талант его, проявляющийся в изучении им любой отрасли знания, приобрели ему многочисленных сторонников и последователей и что его слава совершенно затмила славу его собственных и наших учителей; его, так сказать, виноградная лоза распростерла свои побеги от моря до моря. Если вы — чего я не думаю — обвините его на основе заранее вынесенного суждения, то знайте, этим вы оскорбите многих даже в том случае, если осудите по справедливости. Не будет недостатка во многих людях, которые пожелают его защищать, тем более что в представленной здесь книге мы не можем усмотреть никакого явного нечестия. И так как у Иеронима есть такое место: «Явная сила имеет всегда завистников» и так как известны также слова поэта:

Разит молния  
Высочайшие горы,

то смотрите, как бы вы еще больше не укрепили его добрую славу, поступив круто, и как бы мы не добились скорее против себя обвинения в зависти, чем против него обвинения по всей справедливости. Ведь как сказал только что названный учитель церкви: «Ложная молва быстро исчезает, и последующая жизнь свидетельствует о предыдущей». Если же вы предлагаете поступить с ним по каноническим правилам, то пусть его учение или книга будут представлены здесь и пусть ему будет дозволено свободно отвечать на вопросы, так, чтобы он, уличенный или вынужденный к покаянию, совсем умолк. Это будет согласно с тем суждением блаженного Никодима, который, желая освободить господина, сказал: «Осуждает ли наш закон человека прежде, чем его выслушают и узнают, что он делает?».

Выслушав это мнение, мои противники тотчас же закричали: «Вот так мудрый совет: спорить против его красноречия. Ведь весь божий свет не смог бы опровергнуть его доказательств или софизмов!» Однако же гораздо трудней, несомненно, было спорить с самим Христом, выслушать которого на основании закона требовал Никодим. Епископ, не будучи в состоянии склонить их к принятию своего предложения, попытался обуздать их ненависть другим способом: он заявил, что для суждения о столь важном вопросе собрание слишком малочисленно и такое дело требует более внимательного исследования. В конце концов епископ посоветовал, чтобы мой аббат, присутствующий на соборе, препроводил меня обратно в мое аббатство, монастырь Сен-Дени, и там был созван многочисленный собор учнейших людей для вынесения приговора после тщательного исследования данного вопроса. С этим мнением епископа согласился легат, а также и все остальные.

Затем легат встал для того, чтобы до начала заседания собора отслужить обедню, и через названного епископа передал мне приказание возвратиться в наш монастырь и там ожидать исполнения вынесенного решения. Тогда мои противники, полагая, что они ничего не добьются, если это дело будет разбираться за пределами их архиепископства, где они, разумеется, не смогут прибегнуть к насилию, и не доверяя справедливому суду, внушили архиепископу, что для него весьма оскорбительно, если это дело будет передано в другой суд, и опасно, если я таким образом избежну кары. Они сейчас же побежали к легату, заставили его изменить свое решение и против воли вынудили его согласиться на осуждение моей книги без всякого, рассмотрения, на немедленное и публичное ее сожжение и на вечное мое заключение в другом монастыре. Они говорили: для осуждения этой книги вполне достаточно того, что я осмелился публично читать ее без одобрения со стороны римского папы или другой церковной власти и даже сам предлагал многим ее переписывать. Будет якобы чрезвычайно полезно для христианской веры, если мой пример пресечет подобное же высокомерие и у многих других.

Легат, не обладая необходимыми богословскими познаниями, руководствовался преимущественно мнением архиепископа, а этот последний следовал советам моих противников. Догадываясь о происходящем, епископ Шартрский тотчас же осведомил меня об этих кознях и настойчиво убеждал меня претерпеть это с тем большей кротостью, чем более явным для всех было насилие; и не сомневаться в том, что столь очевидные ненависть и насилие повредят моим врагам в будущем, а мне принесут пользу; и нисколько не беспокоиться по поводу заключения в монастырь, так как он знает, что легат, вынесший, этот приговор по принуждению, конечно, через несколько дней после своего отъезда [прикажет] освободить меня. Так епископ, насколько мог, утешал меня и себя самого, плача вместе со мною.

Призванный на собор, я немедленно явился туда. Там без всякого обсуждения и расследования меня заставили своей собственной рукой бросить в огонь мою названную выше книгу, и она была таким образом сожжена. А чтобы не показалось, что при этом царило полное молчание, кто-то из моих противников пробормотал, будто он обнаружил в этой книге утверждение, что всемогущ один только бог-отец. Разобрав это бормотанье, легат с большим удивлением ответил, что заблуждаться до такой степени не может даже мальчишка и что, сказал он, все христиане твердо исповедуют существование трех всемогущих.

Услышав это, некто Тьерри, магистр одной школы, с усмешкой привел слова Афанасия: «И однако всемогущи не трое, но один всемогущ». Его епископ начал бранить и порицать Тьерри за то, что он якобы повинен в богохульстве. Тогда Тьерри стал смело возражать и, как бы вспоминая слова Даниила, сказал: «Итак, дочь Израилеву осудили вы, неразумные сыны Израилевы, не умеющие судить и не знающие истины. Возвратитесь в суд и судите самого судью, которого вы сами по-



ставили для утверждения веры и исправления заблуждений; а когда он должен был судить, он обвинил себя своими собственными устами. Ныне же милосердие божье освобождает явно невинного, как некогда Сусанну, от ложных обвинителей». Тогда архиепископ встал и, несколько изменив выражения сообразно с обстановкой, подтвердил мнение легата, сказав: «В самом деле, о господи, всемогущ отец, всемогущ сын, всемогущ дух святой. И кто с этим не согласен, тот явно уклонился от веры, и его не следует слушать. Если угодно собору, то хорошо сделает этот брат наш, изложив перед всеми нами свое вероучение, дабы мы могли соответственно одобрить, или не одобрить, или исправить его».

Когда же я встал с целью исповедать и изложить свою веру, предполагая выразить свои чувства собственными словами, мои противники объявили, что от меня требуется только одно — прочесть символ [веры] Афанасия, что мог отлично сделать любой мальчишка. А чтобы я не мог отговориться незнанием слов этого символа, велели принести рукопись для прочтения, как будто бы мне не случилось его произносить. Вздыхая, рыдая и проливая слезы, я прочел его как только мог. Затем меня, как бы виновного и уличенного, передали аббату монастыря святого Медарда, присутствовавшему на соборе, и немедленно увезли в его монастырь, как в тюрьму. Тотчас же был распущен и собор.

Аббат и монахи этого монастыря, предполагая, что я останусь у них и далее, приняли меня с величайшей радостью и, обращаясь со мною весьма любезно, безуспешно старались меня утешить. О боже, праведный судья! С какой желчью в сердце, с какой душевной горечью я, безумный, оскорблял тогда тебя самого и яростно нападал на тебя, непрестанно повторяя вопрос блаженного Антония: «Иисусе благой! Где же ты был?» Какое мучило меня горе, какой стыд меня смущал, какое волновало отчаяние, все это я чувствовал тогда, теперь же не могу пересказать. Я сравнивал то, что я теперь переносил, с теми муками, которые некогда претерпело мое тело, и считал себя несчастнейшим из всех людей. Прежнее предательство представлялось мне ничтожным в сравнении с этой новой обидой. И я гораздо более огорчился оттого, что опорочили мое доброе имя, чем от того, что изувечили мое тело: ведь тогда я был некоторым образом сам виноват, теперь же я подвергся столь явному насилию из-за чистых намерений и любви к нашей вере, которые побудили меня писать.

### Часть третья

После того как распространилась молва о том, как жестоко и незаслуженно со мной поступили, все стали резко порицать приговор, но некоторые из присутствовавших на соборе старались отклонить от себя ответственность и переложить ее на других. Даже сами мои враги начали отрицать, что со мной так поступили по их совету, а легат при всех признался, что он решительно осуждает злобу франков, проявленную в этом деле. Находясь под влиянием моих врагов, он был вынужден временно уступить их злобе, но, побуждаемый раскаянием, через несколько дней отослал меня обратно из чужого монастыря в мой собственный. А там, как я уже упомянул, почти все относились ко мне враждебно; гнусная жизнь и бесстыдное поведение заставляли их смотреть на меня вообще с подозрением; из-за моих же обличений они меня с трудом выносили. И вот через несколько месяцев им представился благоприятный случай сделать попытку погубить меня.

Однажды, когда я читал, мне случайно попала одна фраза из комментариев Беды к «Деяниям апостолов», где он утверждает, что Дионисий Ареопагит был не афинским, а коринфским епископом. Это показалось весьма неприятным нашим мо-

нахам, похвалявшимся тем, что основатель их монастыря Дионисий и есть тот самый Ареопагит, деяния которого свидетельствуют о том, что он был афинским епископом. Отыскав это свидетельство Беды, противоречившее нашему мнению, я как бы шутя показал эту фразу нескольким находившимся поблизости монахам. Они пришли в величайшее негодование, обозвали Беду самым лживым писателем и признали более надежным свидетелем своего аббата Хильдония, который долго путешествовал по Греции с целью исследования этого вопроса и, установив истину, в описанных им деяниях святого совершенно устранил всякие сомнения по этому вопросу. Затем, когда один из моих собеседников настойчиво допытывался у меня, чье свидетельство по этому вопросу представляется мне более авторитетным — Беды или Хильдония, — я ответил, что мне кажется более веским авторитет Беда, труды которого признаются во всей латинской церкви.

Этим ответом я сильно их раздражил, и они начали кричать, что теперь-то они меня явно разоблачили, что я всегда был врагом нашего монастыря, а в данном случае тяжко оскорбил и все королевство, отрицая, что их [монахов] покровителем является Ареопагит, что я отнял у королевства честь, которой оно особенно гордится. Я ответил, что ведь не я отрицал это и меня мало интересует, был ли святой Дионисий Ареопагитом или кем-то другим; важно лишь то, что он удостоился от бога венца святого. Однако они тотчас же побежали к аббату и передали ему слова, которые они приписывали мне. Аббат охотно их выслушал, радуясь представившемуся случаю поставить меня в затруднение: ведя еще более постыдный образ жизни, чем другие, он тем сильнее меня опасался. Созвав монастырскую братию, он обратился ко мне с жестокими угрозами и заявил, что он немедленно отправит меня к королю, дабы тот наказал меня за то, что я лишил его государство и его самого венца славы. До передачи королю аббат приказал строго стеречь меня. Моя просьба подвергнуть меня, если я в чем-нибудь провинился, обычному наказанию осталась безуспешной.

Тогда, сильно опасаясь вероломства монахов Сен-Дени и придя в совершенное отчаяние при мысли, что судьба меня столь долго преследует, как будто против меня восстал весь свет, я, при содействии нескольких сочувствовавших мне монахов и при помощи некоторых моих учеников, тайно ночью убежал из монастыря в близлежащие владения графа Тибо, где я раньше уже жил в некоей, келье. Сам граф был немного знаком со мной и вполне сочувствовал мне, слыша о моих бедствиях. В означенной области я поселился сначала в замке Провена в одной из келий монахов из Труа, настоятель которых еще раньше был дружен со мною и очень меня любил; он сильно обрадовался мне и стал обращаться со мною весьма любезно. Случилось однажды так, что в замок приехал мой аббат по каким-то своим делам к упомянутому графу. Узнав об этом, я также явился к графу вместе с названным настоятелем и стал просить графа, если возможно, вступить за меня перед аббатом, чтобы он отпустил меня и позволил мне жить по-монашески в любом подходящем месте. Аббат и его спутники начали совещаться друг с другом, поскольку они должны были дать ответ графу до своего отъезда в тот же день. Им показалось, что я желаю перейти в другое аббатство, и они признали это весьма оскорбительным для монастыря Сен-Дени. Они очень гордились тем, что при пострижении в монахи я избрал именно их монастырь и этим как бы выразил презрение ко всем другим аббатствам. Они утверждали, что если я, оставив их, перейду к другим монахам, это нанесет им величайшее оскорбление. Поэтому об удовлетворении моей просьбы они и слышать ничего не хотели ни от меня, ни от графа и даже стали грозить мне отлучением, если я немедленно не вернусь в их монастырь. А настоятелю, к которому я бежал, они настрого запретили удерживать меня, если он не хочет быть отлученным вместе со мной.

Услышав об этом, и настоятель и я стали сильно беспокоиться. Но настаивавший на своем аббат скончался через несколько дней после своего отъезда. Тогда я явился

к его преемнику вместе с епископом Мо с просьбой разрешить мне сделать то, о чем я ходатайствовал перед умершем аббатом. Сначала и его преемник не соглашался удовлетворить мою просьбу, но затем при посредстве нескольких моих друзей я обратился к королю и его совету и таким образом добился желаемого. Этьен, занимавший в то время должность королевского сенешала, призвал к себе аббата и его приближенных и спросил их, зачем они хотят удержать меня у себя против моей воли, указав, что этим они могут только вызвать смуту и не получают от этого никакой пользы, ибо согласовать мое и их поведение никак нельзя. Я знал об имевшемся в королевском совете мнении о том, что это аббатство должно было подчиняться королю и доставлять ему мирские выгоды, невзирая на то, что оно все менее следовало уставу. Поэтому я надеялся легко получить согласие короля и его советников на мое ходатайство. Так и произошло. Однако для того, чтобы наш монастырь не лишился приобретенной им из-за меня славы, мне разрешили удалиться в любую пустынь по моему избранию, но с условием не подчиняться никакому другому аббатству. На это дали согласие обе стороны, подтвердив его в присутствии короля и его советников.

Итак, я удалился в уже известную мне пустынь в округе Труа, где некие лица подарили мне участок земли. Там с согласия местного епископа я выстроил сначала из тростника и соломы молельню во имя святой троицы. Проживая в уединении от людей вместе с одним клириком, я поистине мог воспеть псалом господу: «Вот бежав, я удалился и пребываю в пустыне». Узнав об этом, мои ученики начали отовсюду стекаться ко мне и, покидая города и замки, селиться в пустыне, вместо просторных домов — строить маленькие хижинки, вместо изысканных кушаний — питаться полевыми травами и сухим хлебом, вместо мягких постелей — устраивать себе ложе из сена и соломы, а вместо столов — делать земляные насыпи. Так что ты мог бы подумать, что они подражают древним философам, о которых Иероним во второй книге своего сочинения «Против Иовиниана» упоминает в таких словах: «Пороки входят в душу через пять чувств, как бы чрез окна. Столицу и твердыню ума нельзя взять иным путем, как вторжением неприятельского войска чрез врата... Если кто-либо наслаждается цирковыми играми, борьбой силачей, движениями скоморохов, женской красотой, блеском драгоценных камней, роскошью одежд и т. п., то чрез окна очей в плен берется свобода души. И исполняется пророчество: «Чрез окна наши вошла смерть».

Итак, если через эти врата в твердыню нашего ума вторглись треволнения, наподобие атакующего войска, то где же окажется тогда свобода [ума], где его сила, где помыслы о боге? В особенности, когда чувство рисует картины минувших наслаждений, а воспоминание о пороках побуждает душу к сочувствию им и некоторым образом — к совершению того, что не совершается в действительности. По этим причинам многие из философов оставили многолюдные города и загородные сады с их тучной почвой, пышной листвой деревьев, щебетанием птиц, зеркальными источниками, журчанием ручейка и многими соблазнами для зрения и слуха, не желая, чтобы роскошь и избыток приятных впечатлений ослабили твердость души и осквернили ее целомудрие. И в самом деле, бесполезно многократно взирать на такие вещи, которые когда-то пленяли тебя, и подвергаться воздействию тех предметов, лишение которых ты переносишь с трудом. Потому-то пифагорейцы, убегая от многолюдства, обычно жили в уединении и в пустынных местах. И сам Платон — человек богатый, ложе которого Диоген попирали грязными ногами, — для философских занятий и своей Академии избрал виллу, не только удаленную от города, но и пораженную чумой, затем, чтобы обуздать порывы страстей постоянной угрозой болезни и чтобы его ученики не испытывали никаких иных удовольствий, кроме удовольствия от того, что они изучают». Передают, что такой же образ жизни вели и сыны пророческие, ученики Елисея. Сам Иероним пишет о них, как о монахах того времени, и в своем сочинении «К монаху Русту» между прочим, говорит: «Сыны пророческие, о которых мы читаем в Вет-

хом завете, были подобны монахам, строили себе хижины вблизи реки Иордана и, оставив города и шумные скопления людей, питались ячменной крупой и полевыми травами».

Так и мои ученики, построив себе хижины на берегу реки Ардюссона, казались скорее отшельниками, нежели школярами. Но чем больше прибывало их в эту местность и чем суровой был образ жизни, который они вели, пока у меня учились, тем больше в глазах моих врагов это приносило мне славы, а им самим унижения. Они с горечью видели, что все, предпринятое ими против меня, обратилось мне во благо. Итак, хотя, по выражению Иеронима, я удалился от городов, площадей, толпы и споров, все же, как говорит Квинтилиан, зависть отыскала меня даже в моем уединении.

Мои недруги, молча жалуясь и вздыхая, говорили себе: «Вот за ним пошел целый свет, и мы не только не выиграли, преследуя его, но еще более увеличили его славу. Мы старались предать его имя забвению, а на деле лишь сделали его более громким. Ведь вот школяры в городах имеют все необходимое, но пренебрегают городскими удобствами и стекаются в эту пустынную местность, принимая добровольно нищету». В действительности же взять на себя в то время руководство школой меня вынудила главным образом невыносимая бедность, так как копать землю я не имел сил, а просить милостыню — стыдился.

Итак, я был должен, вместо того чтобы жить трудами рук своих, вновь заняться знакомым мне делом и обратиться к услугам своего языка. Школяры же стали снабжать меня всем необходимым — пищей и одеждой, заботились об обработке полей и приняли на себя расходы по постройкам, чтобы никакие домашние заботы не отвлекали меня от учебных занятий. Так как наша молельня не могла вместить даже и малое количество учеников, они по необходимости расширили и значительно улучшили ее, построив из камня и дерева. Хотя она и была основана, а затем — освящена во имя святой троицы, но так как я бежал сюда в отчаянье, а здесь, по милости божественного утешения, вздохнул несколько свободнее, то в память об этой благодати я назвал этот храм Параклетом.

Многие узнали об этом с большим удивлением; некоторые же начали резко порицать меня, утверждая, будто неприлично посвящать храм исключительно святому духу преимущественно перед Богом-отцом и можно — согласно с древним обычаем — посвящать храмы или одному только сыну Божию, или же всей троице в совокупности. Причиной этого несомненного заблуждения была их ошибка, будто бы нет различия между «параклетом» и «духом-параклетом». Между тем и сама Троица, и каждое отдельное ее лицо может быть называемо как богом, или помощником, так и параклетом, то есть, именно «утешителем», согласно изречению апостола: «Благословен бог и отец господа нашего Иисуса Христа, отец милосердия и бог всякого утешения, утешающий нас во всякой нашей горести». И сама истина гласит так: «И другого утешителя даст он вам». А так как всякая церковь освящается равно во имя отца, и сына и святого духа и принадлежит всем трем ипостасям безо всякого между ними различия, то что же препятствует посвятить дом Божий Богу-отцу так же, как Богу — духу святому и Богу-сыну?

Кто дерзнет уничтожить над входом в дом имя того, кому этот дом принадлежит? Или если Сын принес себя в жертву Отцу, вследствие чего и при совершении литургии молитвы обращаются в особенности к отцу и ему же приносится жертва, то почему же не признать, что жертвенник посвящен именно тому, к кому главным образом обращаются с молитвами и ради кого совершается жертвоприношение? Разве не правильно, что жертвенник посвящается тому, кому приносится жертва, а не тому, кто приносится в жертву? Или, быть может, кто-нибудь станет утверждать, что жертвенник посвящается кресту Христову, или гробу Господню, или святому Михаилу, или Иоанну, или Петру, или какому-либо иному святому, коим не приносится жертвы, и

кои сами не приносятся в жертву и к коим не обращаются при жертвоприношении с молитвами? Во всяком случае, даже идолопоклонники считали, что жертвенники или храмы посвящены тем, кому они приносили жертвы и к кому они обращались с мольбами. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что и Богу-отцу не должно посвящать ни храмов, ни жертвенников, так как ему не установлено какого-либо особого праздника. Однако это соображение относится ведь и к самой Троице, но не относится к святому духу, сошествию которого посвящен особый праздник пятидесятницы точно так же, как пришествию Бога-сына посвящен особый праздник рождества Христова. Ведь как Богу-сыну, посланному в мир, так и Богу — духу святому, сошедшему на учеников, был установлен особый праздник.

Да и кому же более подходит посвящение храма пред другими ипостасями, чем духу святому, если внимательно вникнуть в указания апостолов и в деяния самого святого духа. Ведь апостол не присваивает храма духовного никому из лиц святой троицы в отдельности, кроме именно святого духа; апостол не говорит о храме Бога-отца или Бога-сына в том же смысле, как о храме святого духа, написав в первом послании коринфянам: «Кто соединяется с господом, тот единый дух с ним». И дальше: «Или вы не знаете, что ваши тела — суть храм пребывающего в вас духа святого, коего вы имеете от бога, и что вы уже не свои?». Кому же не известно, что совершаемые в церкви таинства божественного милосердия приписываются именно действию божественной благодати, под которой разумеется святой дух? Ведь мы в крещении возрождаемся водою и святым духом и только после этого становимся как бы особым храмом Божиим.

В довершение нам предоставляются, правда, семь даров благодати святого духа, коими сей Божий храм украшается и освящается. Что же удивительного, если мы посвящаем видимый храм тому лицу Троицы, коему, как признает апостол, принадлежит храм духовный? Какой же ипостаси правильной посвятить церковь, как не той, действию коей приписывается всякая подаваемая в храме благодать? Впрочем, в то время, когда я назвал свою молельню Параклетом, я сначала вовсе не думал об этом и не намеревался посвятить храм одному лицу троицы, а сделал это просто по той причине, которую указал выше: я назвал молельню Параклетом в память о полученном мной утешении. Но если бы даже я действовал по соображениям, которые мне приписывают, то это все же не противоречило бы разуму, хотя и отклонялось бы от обычая.

Итак, телесно я скрывался в упомянутом выше месте, но слава моя распространилась по всему свету, уподобляясь тому, что поэтический вымысел называет эхом, имеющим множество голосов, но ничего материального. Мои старые враги, уже не имевшие сами по себе веса, возбудили против меня неких новых апостолов, которым все чрезвычайно доверяли. Из них один похвалялся тем, что он преобразовал жизнь уставных каноников, а другой — жизнь монахов. Странствуя по свету и проповедуя, эти два человека бесстыдно и жестоко нападали на меня и, насколько могли, успели сделать меня на некоторое время предметом ненависти не только духовных, но и светских властей. Эти двое распространяли о моей вере и о моей жизни такие дурные слухи, что от меня отвернулись даже самые большие мои друзья; те же из друзей, которые все-таки еще сохранили в какой-то мере любовь ко мне, стали всячески скрывать ее из страха перед упомянутыми лицами.

Бог свидетель, всякий раз, как я узнавал о созыве какого-либо собрания лиц духовного звания, я полагал, что оно созывается для моего осуждения. В оцепенении, как бы перед ударами надвигающейся грозы, я ожидал, что меня вот-вот потащат на собор как еретика, нечестивца или отступника. И если допустимо сравнение блохи со львом и муравья со слоном, то мои враги преследовали меня с не меньшим ожесточением, чем некогда еретики блаженного Афанасия.

Богу известно, как часто я впадал в отчаяние и помышлял даже о бегстве из христианского мира и о переселении к язычникам, чтобы там, среди врагов Христа, под

условием уплаты какой-нибудь дани спокойно жить по-христиански. Я полагал, что язычники отнесутся ко мне тем благосклоннее, чем менее они будут видеть во мне христианина вследствие приписываемых мне преступлений, и будут надеяться легко склонить меня к своей вере.

И вот, в то время когда я беспрестанно и мучительно переживал эти тревожные и подумывал уже в крайности искать христианского убежища у врагов Христа, я воспользовался случаем, который, как я ожидал, мог бы в известной мере уменьшить коварство моих недругов. Но я очутился в руках христиан, и даже монахов, несравненно более свирепых и скверных, чем язычники. В Бретани, в епископстве Ваннском, находился монастырь св. Гильдазия Рюиского, оставшийся без настоятеля вследствие его смерти; я был призван туда в качестве его преемника единогласным решением братии. На мое избрание было получено согласие владельца той земли, а также без всякого труда и разрешение моего собственного аббата и братии. Таким образом, ненависть французов удалила меня на запад подобно тому, как ненависть римлян изгнала Иеронима на восток.

Бог свидетель, я никогда не согласился бы на это избрание, если бы, как я сказал, у меня не было необходимости избавиться от беспрестанно переносимых мной притеснений. Область та действительно была варварской, языка ее жителей я не знал, постыдная и необузданная жизнь монахов в упомянутом монастыре была почти всем хорошо известна, а живущий в этой области народ, был диким и неукротимым. Подобно человеку, который, страшась занесенного над ним меча, бросается в пропасть и, отсрочив на секунду одну смерть, находит другую, я сознательно бросился от одной опасности к другой; и там, на берегу зловеще гудящего океана, достигнув границы земли и уже не имея возможности бежать дальше, я часто повторял в своих молитвах: «Взываю к тебе от конца земли в унынии сердца моего». Я думаю, теперь уже всем известно, какую тревогою терзалось мое сердце и днем и ночью при мысли о том, сколь непослушную братию принял я под свое управление и какая опасность угрожает поэтому и душе моей и моему телу. Для меня было совершенно ясно, что, если я буду заставлять этих людей вести в силу принесенных ими обетов соответствующую монашескому уставу жизнь, я сам не останусь в живых. Если же я не буду по мере моих сил исполнять свои обязанности, то я буду достоин вечного осуждения. Один властитель, весьма могущественный в данной области, воспользовавшись беспорядками в этом монастыре, давно уже подчинил его себе и использовал все принадлежащие монастырю земли в своих интересах, а монахов притеснял, требуя от них исполнения более тяжелых повинностей, чем те, которые требовались некогда от иудейских данников. Монахи настоятельно просили меня удовлетворить их повседневные нужды, но не имели никакого общего имущества, за счет которого я мог бы им помочь: каждый из монахов содержал сам себя, своих наложниц, сыновей и дочерей за счет средств, бывших некогда его собственными. Монахи радовались, когда видели, что от этого я испытываю тревогу, сами же крали и тащили все, что могли, стремясь, если я не справлюсь с управлением ими, заставить меня либо ослабить дисциплину, либо — совсем от них уйти. И так как жители той области были вообще беззаконниками и непокорными варварами, то не было там людей, к которым я мог бы обратиться за помощью; а нравы всех жителей той области были мне совсем чужды. Вне монастыря меня постоянно притесняли упомянутый властитель и его приспешники, а внутри монастыря против меня беспрестанно строила козни вся братия; так что сам ход событий показал, что именно ко мне применимы слова апостола: «Извне нападения, внутри — страхи».

С горечью размышляя я о том, сколь бесполезную и жалкую жизнь я веду, сколь бесплодна она для меня самого и для других, в то время как прежде я приносил такую пользу клирикам, — а теперь, оставив их ради монахов, я ни в чем не могу быть полезен ни тем, ни другим. Все мои начинания и старания оказываются безуспешными, и

ко мне вполне справедливо можно отнести упрек: «Этот человек начал строить, но не мог окончить». Я приходил в полное отчаяние, вспоминая, от чего я бежал, и думая, что я на себя навлек. Считая свои прежние злоключения почти ничтожными, я часто со вздохами говорил себе: «Я терплю по заслугам за то, что покинул Параклет, то есть утешителя, и вверг себя в полное одиночество; желая избежать угроз, я очутился в явной опасности». Особенно же прискорбно мне было то, что, покинув мою молельню, я уже не мог заботиться об отправлении там божественной службы так, как бы следовало: чрезвычайно бедная местность, в которой находится Параклет, едва давала возможность прожить там даже одному человеку.

Однако же, хотя я и приходил в отчаяние по этому поводу, сам истинный утешитель подал мне великое утешение и сам позаботился о своей молельне. А именно случилось так, что наш аббат монастыря Сен-Дени сумел захватить в свои руки упомянутое выше аббатство Аржантейль, где постриглась в монахини теперь уже скорее не жена моя, а сестра во Христе — Элоиза; это было сделано под тем предлогом, что Аржантейль когда-то давно подчинялся власти монастыря Сен-Дени. Захватив Аржантейль, аббат насильственно изгнал из него ту общину монахинь, настоятельницей которой являлась моя бывшая подруга. Изгнанницы рассеялись в разные стороны, и я понял, что это господь предоставил мне благоприятный случай позаботиться о нуждах моей молельни.

И вот, отправившись туда, я пригласил переселиться в вышеназванную молельню Элоизу и других оставшихся верными ей монахинь из ее общины; после же их переселения я подарил ей эту молельню вместе со всем имуществом, ей принадлежащим; затем с согласия и по ходатайству местного епископа папа Иннокентий II особой дарственной грамотой утвердил мое дарение в пользу этих монахинь и их преемниц. Правда, вначале они жили бедно, а по временам в большой горести. Но вскоре божественное милосердие, которому они так набожно служили, их утешило. К ним снизошел истинный Параклет, под воздействием коего все окрестное население стало сочувствовать этим монахиням и относиться к ним благосклонно. И я полагаю (истинно же про это ведаёт только Бог), что в течение какого-нибудь года их земельные владения увеличились больше, чем увеличились бы в течение ста лет, если бы там остался я. Ведь женщины слабее мужчин, а поэтому нужды женщин легче вызывают в людях сочувствие, а женская добродетель приятней и богу и людям.

Господу было угодно внушить всем людям такую благосклонность к нашей сестре-настоятельнице, что епископы любили ее, как дочь, аббаты — как сестру, а миряне — как мать; и все вообще удивлялись ее благочестию, благоразумию и терпению, которые она сохраняла при всех обстоятельствах. Чем реже она показывалась, чтобы, уединившись в своей келье, с большей чистотой души предаваться набожным размышлениям и молитвам, тем более все, приходившие к ней извне, добивались общения с нею и ее наставлений в духовных беседах. Поскольку все соседи общины всячески винили меня в том, что я поддерживал этих монахинь в нужде меньше, чем мог и должен был это делать (тем более, что я легко мог бы помочь им, например, своей проповедью), я стал чаще приезжать к ним, стремясь тем или другим быть им полезным. Но и это вызвало сплетни из ненависти ко мне: те мои действия, совершать которые побуждала меня моя искренняя благожелательность, обычная низость моих врагов сделала предметом бесстыдных обвинений; говорили, будто бы я все еще одержим обольщениями плотской страсти, так что едва могу и скорее даже совсем не могу оставаться в разлуке с моей бывшей возлюбленной. И мне часто вспоминалось сетование блаженного Иеронима, который писал о ложных друзьях в письме к Азелле: «Ничего мне не ставят в упрек, кроме моего пола, да и в этом не упрекнули бы, если бы в Иерусалим не собиралась Паула». И далее Иероним говорит: «Пока я не знал дома святой Паулы, по всему городу раздавались похвальные отзывы обо мне и, почти по всеобщему мнению,

я признавался достойным верховного священного сана. Но я знаю, что можно достигнуть царства небесного и при доброй и при дурной славе».

Когда, говорю я, мне пришло на ум, что оскорбительная клевета возводилась даже на столь великого человека, я нашел немалое утешение, говоря себе следующее: «О, если бы мои враги нашли во мне повод для подобного подозрения, какой черною клеветою они преследовали бы меня! Теперь же, когда божественное милосердие уже освободило меня от подобного подозрения, лишив способности совершать постыдное, то какое же может возникнуть подозрение? И что же значит это новое бессовестное обвинение против меня?» Мое телесное состояние в глазах всех очищает меня от всякого гнусного подозрения. Ведь если кто-либо желает установить особенно строгий надзор за женщинами, то приставляет к ним евнухов: так повествует священная история об Эсфири и прочих наложницах царя Агасвера. Мы читаем, что всеми сокровищами царицы Кандакийской заведовал евнух, которого ангел повелел апостолу Филиппу обратить в истинную веру и крестить. Богобоязненные и почтенные женщины тем больше чтили таких людей и удостаивали их своей близости, чем дальше они были от всякого подозрения.

Книга VI «Церковной истории» содержит рассказ о том, как величайший христианский философ — Ориген, желая наставлять женщин в святом учении, сам нанес себе увечье, чтобы уже совершенно отстранить от себя подобное подозрение. Я даже считал, что божественное милосердие проявило ко мне больше внимания, чем к нему: ведь он, как считается, действовал недостаточно благоразумно и потому навлек на себя немалые обвинения; в моем же случае божественное милосердие сделало меня свободным и подготовленным к подобному же занятию в результате вины других и с тем меньшими мучениями, что изувечили меня внезапно, объятого сном, и я почти не чувствовал никакой боли, причиненной мне чужими руками. Но если тогда я лишь в слабой степени чувствовал боль от раны, то теперь я страдаю гораздо больше от унижения и сильнее мучаюсь от клеветы, возводимой на мое доброе имя, чем от нанесенного моему телу увечья. Ибо написано: «Лучше доброе имя, чем большое богатство». И блаженный Августин говорит в своей проповеди «О жизни и нравах духовенства»: «Кто доверяется своей совести и пренебрегает мнением о себе, тот — жесток». А несколько выше он же говорит: «Будем проявлять свои добрые свойства по слову апостола, не только пред богом, но и пред людьми. Для нас самих достаточно нашей собственной совести; ради же других слава наша не должна затемняться, но должна возрастать. Совесть и добрая слава — это различные вещи. Совесть для тебя, а слава для ближнего». А если бы сам Христос и его последователи — пророки, апостолы и другие святые отцы, — вовсе не изувеченные, жили бы в одно время с моими врагами и последние увидели бы их в близкой беседе главным образом с женщинами, каких бы мерзостей по своей злобе не наговорили мои враги о Христе и его последователях? Ведь и блаженный Августин в своей книге «О деянии монахов» указывает, что некоторые женщины стали неразлучными спутницами господина Иисуса Христа и апостолов и следовали за ними даже на проповедь. Августин говорит: «С ними шли верные женщины, обладавшие земными благами, и питали их, чтобы они не испытывали нужды ни в чем необходимом для поддержания жизни».

А если кто не верит, что так делали апостолы, странствуя ради проповеди Евангелия в безгрешном общении с женщинами, тот пусть послушает евангелие и узнает, что апостолы поступали так по примеру самого господина. Ведь в Евангелии написано: «Затем и сам он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие Божие, а с ним двенадцать [апостолов] и несколько женщин, исцеленных от злых духов и болезней: Мария, нарицаемая Магдалиной, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, а также многие другие, служившие Христу всем, чем могли». И папа Лев IX сказал в своем сочинении против послания Пармениана «О



стремлении в монастырь»: «Мы признаем вообще, что епископу, пресвитеру, диакону и иподиакону не позволяется отречься от заботы о собственной жене под предлогом посвящения себя делу веры, если это касается обеспечения жены пищей и одеждой, а не плотского сожителства». Мы читаем у блаженного Павла, что так поступали и святые апостолы: «Разве мы не имеем власти иметь спутницей сестру-жену, как братья господни и Кифа?» Обрати внимание, неразумный, что апостол не сказал: «Разве мы не имеем власти обнимать сестру-жену», а сказал: «иметь спутницей»; и именно для того, чтобы за свою проповедь получать от них пропитание, а не затем, чтобы вступать с ними в плотское общение.

Конечно, тот фарисей, который в душе помышлял о господе: «Если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикоснулась к нему, ибо она — грешница», в силу слабости человеческого суждения мог скорее так дурно подумать о Христе, чем мои враги предполагать постыдное обо мне; или тот, кто видел, как Христос поручил свою мать юноше или как пророки посещали вдовиц и разделяли их общество, мог бы с большею вероятностью на основании этого возыметь подобное подозрение.

А что бы сказали эти мои хулители, если бы они увидели, как захваченный в плен монах Малх, о котором пишет блаженный Иероним, жил в одной келье с женой. В каком преступлении они обвинили бы Малха на основании того, о чем выдающийся учитель церкви говорит с большой похвалой: «Там был один старец по имени Малх, местный уроженец. И в его келье жила старуха... оба они были исполнены ревности к вере и так усердно посещали церковь, что можно было бы подумать, что это — евангельские Захария и Елизавета, только вот между ними не было Иоанна».

Почему же мои враги воздерживаются от клеветы на святых отцов, о которых мы часто читаем, что они устраивали также женские монастыри и управляли ими, и сами наблюдаем это? Обратимся к примеру семи диаконов, поставленных апостолами вместо себя для забот о пропитании и для попечения о женщинах. Ведь именно слабый пол нуждается в помощи сильного пола, потому-то апостол и устанавливает, что муж должен быть как бы главою жены, и в знак этого предписывает женщинам иметь всегда голову покрытой. Поэтому я немало удивляюсь уже давно укоренившемуся в монастырях обычаю ставить над женщинами аббатис, так же как над мужчинами — аббатов, причем как женщины, так и мужчины в силу обетов должны соблюдать одинаковые правила, хотя в них содержится много такого, чего никоим образом не могут выполнить ни стоящие во главе, ни подчиненные женщины.

Во многих местах мы видим даже, что, нарушая естественный порядок, аббатисы и монахини повелевают клириками, которым повинуется народ; и чем большей властью обладают аббатисы и монахини, тем легче они могут вызвать дурные желания у клириков и тем тяжелее лежит на тех это иго. Взирая на подобное, знаменитый сатирик сказал: «Нет ничего на свете несносней богатой женщины».

Размышляя часто обо всем этом, я решил, насколько мне было возможно, заботиться об упомянутых сестрах и оказывать им покровительство, а чтобы они больше меня уважали, лично наблюдать за ними. И так как преследования со стороны моих духовных сынов огорчали меня теперь еще больше и чаще, чем прежние преследования со стороны братии, я укрывался у этих монахинь, как в тихой пристани от свирепой бури, и дышал у них несколько свободнее. У монахов мои старания оставались бесплодными, но я видел некоторые их плоды у монахинь, и чем более необходимой являлась моя поддержка их немощи, тем утешительней было это и для меня.

Однако теперь сатана воздвиг на меня такое гонение, что я не нахожу себе места, где бы я мог успокоиться или даже просто жить; наподобие проклятого Каина я скитаюсь повсюду, как беглец и бродяга. Меня, как я уже сказал выше, постоянно мучат «извне нападения, внутри — страхи», беспрестанно терзают и внешний и внутренний страх и борьба. Преследования моих духовных сынов значительно опаснее, чем пре-

следования врагов. Ведь духовные сыны всегда находятся предо мной, и я постоянно должен переносить их коварство. Телесное насилие со стороны врагов угрожает мне, когда я выхожу за пределы монастыря; внутри же его мне сплошь и рядом приходится терпеть столь же жестокие, сколь и коварные козни со стороны духовных сынов, то есть монахов, порученных мне, аббату, как их отцу.

О, сколько уже раз они пытались погубить меня отравой, подобно тому, как это бывало и с блаженным Бенедиктом. Та же причина, из-за которой он покинул своих развращенных духовных сынов, могла бы побудить и меня последовать примеру столь великого отца церкви. Если бы я не выступил против этой явной опасности, то высказал бы не свою любовь к богу, а легкомысленное желание искушать его и погубить себя. Хотя я пытался, насколько мог, предотвратить ежедневные покушения на мою жизнь во время подачи мне пищи и питья, монахи старались отравить меня даже при совершении таинства причастия, а именно, влив в чашу яд.

В другой раз, когда я отправился в Нант навестить заболевшего графа и остановился там в доме одного из моих братьев по плоти, монахи задумали отравить меня с помощью сопровождавшего меня слуги, предполагая, что я совершенно, не буду остерегаться подобного покушения. Но по промыслу Божию случилось так, что, пока я еще не отведал приготовленной для меня пищи, один из прибывших со мной монахов, по неведению, воспользовался ею и тотчас же упал мертвым; слуга же, виновник этого, почувствовав укоры совести, а также испугавшись обнаружения улик, бежал.

Итак, после столь явного для всех доказательства их злонамеренности, я начал уже, по мере возможности, открыто бороться против их козней, перестал даже ходить на собрания капитула и пребывал в кельях с немногими монахами. Остальные же, если бы они узнали, что я намереваюсь куда-нибудь поехать, расставили бы по дорогам и тропам подкупленных разбойников, чтобы убить меня. И вот пока я претерпевал все эти опасности, рука божья нанесла мне однажды сильный удар: я выпал при езде из повозки и повредил себе шею; это падение огорчило и ослабило меня гораздо больше, чем когда-то прежняя рана. Обуздывая мятежный дух братии угрозой отлучения, я заставил некоторых из них, наиболее опасных для меня, публично обещать мне или даже дать клятву, что они совсем уйдут из аббатства и больше не будут меня ничем беспокоить. Но они открыто и бессовестнейшим образом нарушили данное слово и клятвы и были вынуждены по повелению римского папы Иннокентия, через особо присланного легата, повторить прежние клятвы и дать еще много других заверений в присутствии графа и епископов. Однако и после этого они не успокоились. Недавно, когда, изгнав тех, о которых я только что сказал, я снова пошел на собрание капитула и доверился остальной братии, к которой я относился с меньшим подозрением, я обнаружил, что оставшиеся еще много хуже, чем изгнанные. И я едва успел спастись, теперь уж не от их яда, а от их меча, приставленного к моему горлу: меня укрыл от них один из местных владетелей.

В столь опасных условиях я тружусь до сих пор; каждый день я вижу как бы занесенный над моей головой меч, так что не могу себя чувствовать спокойным даже за обедом. Подобное этому рассказывается о человеке, который считал могущество и богатство тирана Дионисия величайшим счастьем, но увидев меч, тайно подвешенный над ним на нитке, уяснил себе, какого рода счастье сопутствует земному могуществу. То же самое беспрестанно испытываю теперь и я, возведенный из состояния бедного монаха в сан аббата и ставший тем несчастнее, чем большей стала моя власть. Пусть же мой пример обуздывает честолюбие тех, которые сами стремятся к этому.

Такова, о возлюбленный мой во Христе брат и ближайший спутник в жизни, история моих бедствий, которым я подвергаюсь беспрестанно, чуть ли не с колыбели. Ты теперь впал в отчаяние и мучаешься от сознания причиненной тебе обиды. Поэтому я желаю, как я и сказал в начале этого послания, чтобы рассказанная мною история по-

служила тебе утешением и чтобы по сравнению с моими ты признал бы свои невзгоды или ничтожными, или легкими и терпеливее бы переносил их. Следует всегда утешаться предсказанием господина о его последователях и приспешниках дьявола: «Если они преследовали меня, они будут преследовать и вас... Если вас ненавидит мир, то знайте, что прежде вас он возненавидел меня. Если бы вы были от мира сего, то мир любил бы свое». И апостол говорит: «Все, желающие жить во Христе, благочестиво, будут гонимы». И в другом месте: «Я не стремлюсь угождать людям. Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христа». И Псалмопевец говорит: «Введены в заблуждение те, кто угождает людям, так как бог презрел их». Подвергая этот вопрос тщательному обсуждению, блаженный Иероним, наследником которого — по моей участи человека, терпящего поношения из-за клеветы, — я себя считаю, в письме к Непотиану говорит: «Апостол сказал: «Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христа». Но он перестал угождать людям и стал рабом Христа». Тот же автор в письме к Азелле о ложных друзьях заметил: «Благодарение господу за то, что я удостоен ненависти мира». И в послании к монаху Илиодору: «Заблуждаешься, брат мой, заблуждаешься, если думаешь, что христианин когда-либо не будет подвергаться преследованиям. Враг наш, аки лев рыкающий, бродит, ища, когда поглотить. А ты помышляешь о мире. Сидит враг в засаде вместе с богатыми». Воодушевленные этими словами и примерами, будем же тем терпеливее переносить несчастья, чем они несправедливее. И не будем сомневаться в том, что они полезны для нас, если и не как заслуга, то, во всяком случае, как некое искупление. А так как все происходит по промыслу Божьему, то пусть каждый верующий во всякой напасти утешается по крайней мере тем, что божья благодать никогда и ничего не допускает вопреки своим предначертаниям, и что бы дурное ни совершалось, она все приводит к наилучшему концу.

Оттого-то и правильно во всех случаях обращаются к Богу со словами: «Да будет воля Твоя!» А притом сколь великое утешение любящим бога содержится в словах апостола: «Знаем ведь, что для любящих бога все творится во благо». Это разумел и мудрейший из людей, сказав в «Притчах»: «Праведника не опечалит ничто с ним случившееся». Этим он ясно показывает, что люди, приходящие во гнев из-за случившегося с ними несчастья, удаляются от справедливости, хотя и не сомневаются в том, что все происходит по божьему промыслу. Эти люди стремятся подчиняться не воле божьей, а собственной, и, втайне противясь словам «Да будет воля твоя!», предпочитают божьей воле свою собственную.

Прощай!